

I

Я увидел это, едва свернув с Невского проспекта на Малую Морскую.

Вдалеке, перед домом, собралась толпа; люди стояли, запрокинув голову, в надежде разглядеть там, наверху, тень несказанного горя. На пятом этаже, несмотря на ранний час и пронизывающий ледяной ветер с Невы, были распахнуты все окна.

Я ускорил шаг, как будто после целой ночи непрерывного пути последняя сотня метров еще имела какое-то значение.

Уличный продавец чая протискивался между ожидающими, которые стояли там уже с полуночи. Над самоваром у него за спиной поднимался пар. Его покупатели грели онемевшие от холода пальцы о дымящиеся кружки. Вокруг тележки молочницы тоже собрался народ. У мальчугана с подносом пирожных «картошка» дела шли хорошо, у крестьянок с тяжелыми корзинами антоновских яблок – похуже.

Если не знать, что здесь происходит, можно было бы принять это за праздник в околоте: раскрасневшиеся лица, некоторые сияют от предвкушения сенсации. Их возбуждение напоминало волнение гурьбы за воротами в ожидании полкового бала, и все же... Есть в смерти что-то, что с трепетом пронизывает живых насквозь. Ее тягостное присутствие касается не только опочившего, но просачивается сквозь щели его последнего жилища и пропитывает всех нас осознанием смерти, которое обыкновенно немногим отличается от чувства облегчения, что мы-то, слава богу, несмотря ни на что, еще живы.

Людей, стоявших у двери дома на Малой Морской, объединяло ощущение вины за то, что им удалось избежать чужой боли. Оно не умаляет их сострадания и благочестия их молитв, но сама мысль о том, что неизбежное пока далеко впереди, действует на толпу так же заразительно, как веселье или жажда крови.

Один взгляд на эти лица – и я понял, что пришел слишком поздно.

Одни пытались преградить мне проход, как будто я вечером протискивался без очереди к кассе Александринского театра. Другие думали, что я пришел ради шумихи, и льнули ко мне, чтобы посвятить меня в последние слухи, но я шел, опустив глаза, и потому не знал, что они говорят.

Таково одно из преимуществ моего физического изъяна: слова, которые не готов воспринимать, легко пропускаешь мимо себя.

Единственным, кого я узнал, был Софронов.

– Алеша! – окликнул я, удивленный тем, что вижу его у двери, а не в доме, подле барина, но в общей разногласии мой голос затерялся.

Выглядел он ужасно. Софронов был старше меня на неполных десять лет, но в то утро казался согбенным стариком, словно изнемогшим под тяжестью своей утраты и борьбы последних дней.

Только когда я взял его за руку, в него вернулась какая-то жизнь.

– Да неужели, Николай Германович!

Несколько мгновений он просто смотрел на меня, будто сначала должен был уразуметь, что жизнь воистину свела нас в такой момент.

– А нельзя ли войти в дом? – спросил я, потому что лучше всего улавливаю слова в спокойной обстановке.

Он покачал головой и заплакал.

– Они никого не пускают. Стоят на своем.

– Кто?

– Он лежит в маленькой гостиной. На оттоманке. Это там и случилось. Сегодня утром, в четвертом часу. И думать об этом не хочу. Что он там сейчас так лежит. Пока они работают.

– Господи, да кто же? И что они делают?

– Обеззараживают. Комиссия по здравоохранению.

– Так это была холера?

Софронов снова взглянул на меня.

Его взгляд оставался пустым, словно он не понял моего вопроса.

– У них такая процедура, – он пожал плечами. – За ними посылал Модест Ильич.

Я огляделся вокруг, не стоит ли и Модест где-нибудь в толпе.

– Он еще наверху. Хочет оставаться как можно ближе к брату и заперся в своей комнате. Я тоже должен был так сделать. Я должен был остаться при нем, да, после всех этих лет я

должен был остаться при нем! Но если меня отсылают, я уйду, так я привык, – тыльной стороной руки он отер себе щеки. – На улице все кажется еще хуже, чем подле него.

– Ничего не понимаю. Разве комнату Модеста не нужно тоже продезинфицировать? А вы сами? Ты не беспокоишься?

– Беспокоюсь? Не хватало мне еще за собой ухаживать. С прошлого четверга я день и ночь ходил за Петром Ильичом, умывал его, а сегодня у нас?..

– Понедельник.

– Понедельник! Если бы я что-нибудь подцепил, то уже заболел бы.

– Но шутка ли сказать, холера!

Я уж было пожалел, что дотрагивался до руки Софронова, но самого слугу возможное заражение, казалось, нимало не заботило.

– Вчера вечером мы опускали его в жестяную ванну. На простыне, все вместе, держась за углы: Модест Ильич, барич Боб и я, грешный. Не для того, чтобы поправился, а просто чтобы облегчить его страдания. В надежде, что так он хотя бы справит малую нужду. Ох, ему было так больно. Но он не хотел, упрямец, сколько дней не хотел. Просто отказывался принимать ванну, потому что матушка его так и померла. В ванне. Но в конце концов он был уже слишком слаб, чтобы протестовать, а иначе...

Я жестом попросил его говорить чуть спокойнее. Чтение речи по губам подобно бегу. Иногда отстаешь, тогда делаешь рывок, чтобы наверстать упущенное, после чего нужно восстановить равновесие и набраться сил, чтобы опять можно было держаться вровень.

– Но я просто не понимаю, как твой хозяин мог умереть дома, – проворчал я. – Почему его не доставили в императорскую лечебницу? Сразу же, при первых симптомах.

– Ваша правда.

– Так он все еще остается здесь?

– Он лежит, такой красивый. Как будто в любую минуту еще может вздохнуть, – Софронов снова заплакал. – Как будто спит. Сами увидите.

– Так гроб еще открыт?

– Я же говорю, он все еще лежит на диване. Как будто так и надо, как обыкновенно, будто он в любую минуту может проснуться, – он огляделся вокруг. – Вы только посмотрите, какое участие!

За то недолгое время, что мы там простояли, группа ожидающих еще выросла. Это принесло Алеше облегчение.

– Все любили Петра Ильича. Весь Петербург захочет увидеть его еще разок.

Я молчал. Мне казалось, что выставлять тело для прощания нельзя. Насколько мне было известно, каждую жертву заразной болезни по закону полагалось сейчас же положить в гроб, а гроб этот опечатать. Уж при такой эпидемии в городе, как нынешней осенью, это правило точно строго соблюдается.

Я сказал себе, что Алеша Софронов, должно быть, просто не в себе. С двенадцати лет бедняга редко бывал не при Чайковском дольше нескольких часов. То, что он мог видеть лик своего дорогого барина во время бдения при нем, казалось мне нереальной надеждой его разбитого сердца.

Он распознал мое безмолвное стеснение и доверительно ко мне наклонился.

– Смерть уже сама по себе такая тайна, Николай Германович.

Теперь его рука взялась за мою.

– Откуда мы приходим, куда уходим? По пути с земли на небеса появляется столько вопросов, на которые никогда не получить ответа. Одним больше, одним меньше – какая разница? Оставь, Коля.

Он не называл меня так с тех пор, как мне исполнилось десять. Он еще никогда так меня не хватал. Он сжимал мою руку все сильнее, настойчиво, словно собирался меня встряхнуть.

– Все, что ты здесь сегодня еще увидишь или услышишь, – продолжал он, – принимай, как оно есть. Пожалуйста. При таком горе, как наше, лучше не задавать вопросов.

Парадная дверь распахнулась. Нам навстречу ударил едкий запах дезинфекции.

На улицу вышли трое мужчин в белых халатах. На них были докторские шапочки, перчатки и маски, которые они сорвали с себя, чтобы глотнуть свежего воздуха.

Софронов остановил их. Он обменялся с ними несколькими словами, но они стояли ко мне спиной, так что я не мог читать по их губам. Как только они двинулись прочь, толпа перед ними расступилась.

– Все в порядке, – слуга придержал передо мной открытую дверь. – Представление окончено. Нам опять к нему можно.

Все часы были остановлены, зеркала закутаны в черные лоскуты. Семейные портреты висели изображением к стене, чтобы предки не видели горя своего потомства.

Я не решился сразу идти в маленькую гостиную. Чтобы предстать перед Модестом, мне нужно было еще набраться духу, так что я попросил Софронова сначала оставить меня в приемной, где в тот момент никого не было.

Он предложил принести мне чего-нибудь вкусенького, но в доме, где лежит покойник, я не могу ни есть, ни пить.

Повсюду было свежо. И все-таки я оставил окна открытыми. На всем этаже, несмотря на дезинфицирующие средства, висел тошнотворный запах – не от разложения, оно еще не началось, а от болезни, в особенности от состояния внутренних органов и от всех конфузов, которые оно вызывает.

Этот запах только усугублял мое впечатление от квартиры, которая оказалась очень мрачной.

Модест, брат Петра Чайковского, жил здесь вместе с Бобом Давыдовым, их любимым племянником, сыном сестры, выпускником Императорского училища правоведения.

Они въехали сюда вдвоем меньше месяца назад, после нашего разрыва, но это лишь отчасти объясняло мрачную обстановку. Я узнал два стула и стол, взятые ими с собой из моего дома на Фонтанке, который они оставили по моему требованию.

Их дела определенно не шли на лад. На зеленой кафельной плитке центрального камина виднелись трещины, ковры потертые, мебель разрозненная. Очевидно, Модест еще не нашел никого другого, из чьего кармана он мог бы кормиться, и теперь ему приходилось перебиваться своей писаниной.

Меня опечалила эта бедность. Раньше я думал, что ему поможет старший брат. Модест держал для него здесь отдельную комнату на случай, если он захочет поприсутствовать на исполнении одной из своих опер или балетов. Петр Ильич едва ли успел ею воспользоваться, кроме как в последние роковые недели.

По громыханию неплотно пригнанных половиц я узнал этот твердый шаг, прежде чем Боб Давыдов ворвался в комнату. Он еще не ожидал никаких гостей и, погруженный в свои мысли, устремился прямо к буфету.

– Конради!

Потребовалось лишь несколько секунд, чтобы к нему, при всем его горе, вернулась былая сердечность, он швырнул на стол альбом для эскизов, который нес под мышкой, и с

распростертыми руками подошел ко мне. Мы расцеловались, как прежде, но и после этого он отпустил меня не сразу.

– Ох, слишком поздно, Коля, все, все кончено. Кто теперь должен вести нас по жизни?

Его пальцы вцепились в ткань моего сюртука. Ему был двадцать один год, всего на четыре года меньше, чем мне, он носил военный мундир, но прижимался ко мне, как дитя к своему отцу. Я не смог придумать ничего лучше, как погладить его по голове. Не противясь этому, он положил голову мне на плечо.

– Мы теперь взрослые, – утешал я его. – Ты и я, мы уже где-то. Теперь не так, как раньше, Пете и Модесту больше не нужно водить нас за ручку.

Он оторвался от меня, пошел, как и собирался, к буфету, налил стакан водки и залпом выпил.

– К тебе, может быть, это и относится, – сказал он. – У тебя есть состояние, имение, предприятие. Господи, ты даже невесту себе нашел.

– Тебе бы тоже попробовать, – я принялся защищаться, но это не было ему в упрек.

– Но я, чем я не пустой чемодан... – с горьким смешком он налил себе снова. – Однажды Петя сказал мне, что у меня есть багаж. Чтобы меня подбодрить. Что во мне есть нечто, хотя я и сам этого не знаю, но что все это свалено вместе. И он твердил, что я еще просто должен перебрать свое содержимое. Что во мне всего, скорее, слишком много, чем слишком мало, как и в нем самом, что я ношу с собой больше, чем мне будет нужно в пути. Уложить свой чемодан! Эту кучу я должен погладить и сложить. Стопочкой. Выбрать, что будет путешествовать со мной по жизни, а что нет. А тем временем...

– «Больше читать, больше учиться». Господи, – вздохнул я, – да, я так и вижу, как он говорит: «Мальчики, наслаждайтесь своей юностью, берегите свое время и талант».

– В конце концов, никто же не знал его так, как я и ты, Коля. Никто. Так, как мы.

Боб нашарил в ящике буфета пригоршню мелков.

– Что я должен больше заниматься музыкой и рисованием. Это были две вещи, которые он всегда мне вдалбливал: серьезнее относиться к сольфеджио, а в особенности ни дня не проводить без рисования. Ну так он это узнает! Пойдем со мной.

Он схватил со стола свой альбом и взял меня за руку.

– Может быть, мне лучше подождать Модеста?

– Нет времени. Ворота внизу вот-вот откроют, и Петя больше никогда не будет нашим. Там стоят они все – коллеги, ученики, поклонники. Разве ты не видел? Они тотчас же

поднимутся вверх. И тогда отберут его у нас навсегда. Пока он еще наш, надо поторопиться.

Беспокойный, как школяр в начале переменки, он увлек меня с собой в коридор. В своем нервическом состоянии он продолжал что-то говорить, но когда слишком много всего происходит одновременно, то половину я не улавливаю.

У входа в маленькую гостиную Боб отпустил меня, чтобы, сложив троеперстие, осенить себя крестным знамением. Он сделал глубокий вдох, выдохнул, искоса взглянул на меня, чтобы увидеть, готов ли я, и открыл двухстворчатую дверь.

Петр Ильич лежал, все еще одетый в домашний халат. На оттоманке – в точности как сказал Софронов.

В изголовье стояла икона с изображением распятия, перед которой горела восковая свеча. Малейшее колыхание ее пламени приводило в движение тени на осунувшемся лице, как будто в глазницах и морщинах, даже в губах еще прятались остатки жизни.

Отблеск света на высоком лбу. Белая борода, как всегда пышная, теперь делала нос и щеки тоньше. Возможно, они стали такими от великих страданий. Кожа его была желтоватой. Как пергамент.

Боб Давыдов взял стул и придвинулся поближе к телу, так доверительно к усопшему, как может только тот, кто держал его на руках при последнем вздохе, – интимность, столь же краткая, сколь и вечная.

Боб положил ногу на ногу, раскрыл альбом и поставил его себе на колено. Прищурившись, он стал изучать свой предмет, как будто это была модель в академии. Маленький кусочек древесного угля, который он выудил кармана мундира, воспарил над листом бумаги.

– Ему устроили овацию, стоя, – заговорил он, не отрывая взгляда от своего дяди. – На прошлой неделе, на премьере его нового произведения.

– Да? Был успех?

– Неделя! В голове не укладывается. И все-таки это правда: всего восемь дней назад он выступил на вершине своего мастерства.

– Симфония, я читал.

– Да, шестая. Люди, конечно, не знали, что о ней и думать, так полна эта музыка, столько в нее вложено. Ту овацию он заслужил за то, кто он есть, – заранее, только появившись

перед оркестром. А по окончании аплодисменты звучали как-то принужденно. Обычные люди, как они могут понять, что происходит у него в душе...

Он осекся и взглянул на меня.

– Происходило. Мы должны привыкнуть к прошедшему времени, я знаю, но пока это просто застрекает у меня в горле.

– Он, конечно, был разочарован, что не оценили?

– Еще больше, чем обычно. Думал, что это из-за него самого, что он слабовато дирижировал.

– Такой осадок оставался у него после каждой премьеры.

– Но на сей раз он был искренне убежден, что это его лучшее произведение, и просто не мог уразуметь, почему этого никто не хочет понять, ни музыканты, ни публика. Как ни странно, он думал, что это хуже всего для меня.

– Для тебя?

– Эта симфония посвящена мне. И он устыдился, глупый. Такой прохладный прием. Как будто он подарил мне что-то, что оказалось не представляющим ценности. Он надеялся сделать такой жест с одним из успешных произведений. Но мне все равно...

Он наклонился вперед, высвободил одну из сложенных рук и прижал ее к своей щеке, обращаясь к покойнику так, словно тот мог его услышать:

– ... ты же знаешь? Видеть свое имя рядом с твоим – только это имеет значение, мой друг, мой сердечный друг. Ты это знаешь, конечно, ты это прекрасно знаешь.

– Я задаюсь вопросом, – перебил я его нерешительно, – можно ли к нему так прикасаться?

Боб поднял на меня взгляд, рассерженный, удивленный.

– В связи с этой болезнью, – добавил я для пояснения.

– Ах, да.

Боб задумался и кивнул.

– И правда, болезнь.

Он положил руку обратно. Он сделал это довольно обстоятельно, как художник, который ставит в позу свою модель. Словно переместил ее, чтобы лучше падал свет.

– Натура потеряна, – пожаловался он. – Сегодня утром нам с Модестом пришлось его перетаскивать. Положить на стол, чтобы Софронов мог его обмыть и переодеть. Слава богу, здесь был еще некто, он пришел с цветами одним из первых, студент консерватории,

Сергей Павлович, откуда ни возьмись. Он нам помог. Вместе с Римским-Корсаковым, тот пришел вторым. Сначала мы перетащили его с дивана на стол, а потом обратно. Ты не представляешь, каким тяжелым становится такое тело, когда отлетает душа, будто до этого все держалось на ней. Но после этого... нечего и говорить, оно больше никогда не вернется в прежнюю форму.

А потом он атаковал чистый лист бумаги торопливыми штрихами угля.